

ОДИНОЧЕСТВО

Мира Ароновна все время тревожилась за Брочку. На четвертом курсе консерватории работать надо очень много, по крайней мере, четыре часа в день играть, а с тех пор, как оба они не ночуют дома, весь день состоит из беготни и неудобств. Завтракают врозь: Мира Ароновна в школьном буфете, а Брочка спускается в молочную, в том же доме, где живет его друг, Яша Шапиро. Встает раньше всех и тихонечко уходит, иначе Яшина мама поймает его и никуда не отпустит, а это неудобно, они не берут деньги, дело даже не в деньгах, но кому нужны лишние хлопоты?.. Из молочной Брочка бежит на Подольскую и потихоньку, как вор, старается проскользнуть в собственную комнату. Днем в квартире одна бабка, конечно, услышав рояль, она каждый раз выходит в коридор и выкрикивает всякие гадости, но тарабанить в дверь не решается — по одиночке они не такие уж храбрые. Заперевшись изнутри и не обращая внимания на ее выкрики, Брочка играет до двух. Самое трудное выскользнуть из квартиры, стоя у дверей он иногда долго-долго прислушивается, выжидает, покуда бабка в уборную зайдет, но когда опаздывает — ничего не поделаешь — приходится ему идти сквозь ее издевательские выкрики.

В шесть Мира Ароновна встречается с Брочкой в консерваторской столовой. Это самый лучший час дня. В опустевшем к этому времени столовском зале она усаживается в уютный уголок, Брочка берет поднос, ставит на него два первых, два вторых, два чая или компота, бывает и так,

что уже ничего не выберешь, но зато в это время они спокойно могут посидеть вдвоем и никто не стоит над душой, не ждет места. По крайней мере, можно хоть чуть-чуть чувствовать себя не на людях. Он очень трогательно ухаживает за ней, как-то особенно внимательно приглядывается, вероятно, замечает, что выглядит она в последнее время совсем паршиво. Это ведь особенно заметно, когда видишься с человеком урывками, тогда все сединки-морщинки лезут в глаза. Она уж старается изо всех сил выглядеть бодрее, перед тем, как бежать в консерваторию, пудрит нос, даже губы подкрашивает, готовится к встрече с сыном, смешно сказать, как готовилась когда-то к встрече с его отцом. И всегда нервничает: вдруг что-нибудь помешает, вдруг случится что-нибудь, и он не сможет прийти. Ест она медленно, не в силах торопиться, хоть и знает, что Врочке некогда с ней тут расслаиваться, и сама же каждый раз начинает с одной и той же фразы: "Ну, мы сейчас с тобой быстренько пообедаем и разбежимся!" Но обед подходит к концу, а ей мучительно трудно сделать последний глоток, хочется съесть еще что-нибудь через силу, только бы еще немного, ну, пусть он еще что-нибудь ей расскажет... Врочка очень смешно изображает испуганных вокалисточек, которым сердитый педагог кричит:

- Обопрись на хвост! Обопрись на хвост, кому говорю! Улови, прошу тебя, ну, улови же всю прелесть глубины носовой пещеры!

Мира Ароновна смеется каждый раз, вспоминает что-то смешное про своих малышей и, наконец, сделав последний глоток, говорит:

- Бежим?

И Врочка бежит, чмокнув ее в щеку. Он бежит к Шапиро, где в тесной Яшиной комнате ему выделен уголок для занятий. А Мира Ароновна добегают с ним до трамвайной остановки, еще раз целует его и тоже садится в трамвай, но проехав остановку, выходит, медленно плетется, не зная куда и зачем...

Комедия с трамваем необходима, ибо она уверила Врочку, что ночует у своих приятелей, милых чудных людей; Врочка знает их: Бориса Наумовича и тетю Тасю. Собственно, они действительно приглашали ее, уговаривали, и чтобы не обидеть их, пришлось наврать, что дома все благополучно, приходила, якобы, комиссия содействия, такие строгие справедливые люди, приструнили Харьковых, как следует приструнили их, и те утихомирились, даже стали любезными. На самом деле давно уже никто не приходил, когда-то, правда, сами Харьковы вызывали эту комиссию, и пришли очень неприятные люди, один из них особенно запомнился, он все время говорил в рифму:

- Кто хочет кушать ку"н - берется за халту"н- это он ее передразнивал, потому что она действительно "р" не выговаривает, но совсем не так безобразно.

- А людям "абочим нужен отдых, между п"очим!

И, конечно, все утрировано, преувеличенно- какие халтуры- ее единственный ученик! Она готовила одного очень способного мальчика к поступлению в консерваторию, но, конечно, пришлось отказать. Кому-то передала его, педагоги музыкальных школ, как правило, все имеют частных учеников.

что ж в этом такого? Но теперь к ней, вообще никто не ходил. Теперь она не приглашает ребят из своего класса, боялась, что они застанут в квартире очередной скандал, грязный, стыдный, когда ее и Врочку как только не обзывают. Зачем детям это слышать?

А раньше ребята любили у нее собираться. Она поила их чаем с вареньем и столько было музыки, смеха, споров! Да, хорошо было, удивительно!..

Ничего, утешала себя Мира Ароновна, вот подвернется обмен, конечно, комната темная, четвертый этаж без лифта, но вдруг повезет, и кто-нибудь согласится, вот их бывшие соседи поменялись же с теперешними, а у них комнату тоже светлой не назовешь, только что больше она. Может и ей повезет... В последнее время жить стало, вообще, невозможно. Как-то Мира Ароновна вышла на кухню и раскашлялась— где-то продуло ее, вот и напал сухой удушливый кашель. А на кухне одна старуха была, и вдруг она как закричит истощенным кликушеским голосом:

— Ракушка! Ракушка! Не подходи! Не подходи! Раки вокруг ползают! Ай! Ай! Раки! Раки!

Мира Ароновна все не могла откашляться, а тут выскочили все Харьковны: и дочь, и муж ее, и даже мальчишка их, и все орут:

— Ракушка! Ракушка! Сдохнешь скоро! Убирайся отсюда, ракушка!

Конечно, смешные тупые темные люди, фигляры и издеватели, причем тут ползающие раки, даже если бы у нее и был рак?! Но есть на их стороне какая-то непонятная сила. Мо-

жет быть, просто тупые железные нервы— как от тупого ножа, от них особенно больно... Вот и тогда, ей бы засмеяться, и Брочке засмеяться бы. Но ее вдруг затресло, стало смертельно страшно от близости этих людей. Брочка выскочил на кухню, схватил ее, руки у самого дрожат, затащил в комнату, и там они долго, оцепенело молчали, не в силах глядеть друг другу в глаза— почему в такие минуты так отвратительно стыдно и унижительно, именно, друг перед другом? Потом она не выдержала и разрыдалась. И сквозь рыдания все умоляла Брочку только не выходить к ним, поклясться заставила, что никогда, ни за что на свете /старуха не нарочно, да и дочь ее, как только видят Брочку, наскакивают на него, кособоко, как уродивые, с криком: "Ударь! Ну, ударь! Ударь-ударь-ударь меня!" и там дальше все оскорбления, конечно/, но не приведи его Бог не выдержать когда-нибудь! Хотя она и представить не может, чтоб ее сын ударил кого-нибудь.

Когда-то маленьким она его в цирк повела, он все время глаза закрывал, не хотел смотреть, потом в антракте говорит:

— Мамоchка, я все делать буду, буду хорошо учиться, буду слушаться тебя, только не води меня сюда больше!

А потом вечером все никак не мог уснуть. Она к нему:

— Ты чего не спишь, дурачок?

А он говорит:

— Мамоchка, я Богу молюсь за того дяденьку, который гиpю подбрасывал, чтоб она ему на голову не упала, Бога прошу!"

Ради него она все готова была терпеть, но потом про-

жет быть, просто тупые железные нервы— как от тупого ножа, от них особенно больно... Вот и тогда, ей бы засмеяться, и Брочке засмеяться бы. Но ее вдруг затресло, стало смертельно страшно от близости этих людей. Брочка выскочил на кухню, схватил ее, руки у самого дрожат, затащил в комнату, и там они долго, оцепенело молчали, не в силах глядеть друг другу в глаза— почему в такие минуты так отвратительно стыдно и унижительно, именно, друг перед другом? Потом она не выдержала и разрыдалась. И сквозь рыдания все умоляла Брочку только не выходить к ним, поклясться заставила, что никогда, ни за что на свете /старуха не нарочно, да и дочь ее, как только видят Брочку, наскакивают на него, кособоко, как юродивые, с криком: "Ударь! Ну, ударь! Ударь—ударь—ударь меня!" и там дальше все оскорбления, конечно/, но не приведи его Бог не выдержать когда-нибудь! Хотя она и представить не может, чтоб ее сын ударил кого-нибудь.

Когда-то маленьким она его в цирк повела, он все время глаза закрывал, не хотел смотреть, потом в антракте говорит:

— Мапочка, я все делать буду, буду хорошо учиться, буду слушаться тебя, только не води меня сюда больше!

А потом вечером все никак не мог уснуть. Она к нему:

— Ты чего не спишь, дурачок?

А он говорит:

— Мапочка, я Богу молюсь за того дяденьку, который гирию подбрасывал, чтоб она ему на голову не упала, Бога прошу!"

Ради него она все готова была терпеть, но потом про-

сто невозможно стало дома жить; когда поимом им под дверь выплеснули— это еще ничего, но когда, однажды, все Харьковы ушли из дому— это в воскресенье было— а они с Брочкой услышали вдруг жидкий в своей комнате кислый запах газа, вскочили на кухню и увидели, что все комфорки открыты, даже духовка, и газ— хорошо, что сообразили света не зажечь— заполнили кухню и по всей квартире сочилось уже, вот тогда стало страшно. Решили больше не жить дома. Уйти от этого сирота, бежать. Яша давно уже звал Брочку к себе, но он не мог ее оставить. А тут как раз Тася и Борис Наумович стали уговаривать ее. Она действительно ночевала у них две ночи, и если бы не храпела— все было бы хорошо. Но ей неудобно. У Таси очень чуткий сон, днем всегда головные боли, а она храпит ужасно— это с возрастом появилось, раньше, когда была молодой, она никогда не храпела. Гриша, Брочкин отец, говорил, что она спит "как ангел". Она другой раз проснется, откроет глаза и видит: Гриша, приподнявшись на локте, смотрит на нее долгим нежным взглядом, ей каждый раз казалось, что это еще сон, его ласка, его любовь— это все еще продолжение теплого рассветного сна.... Брочка очень похож на отца.... Как она любила, когда он был маленьким, трогать кончиками пальцев круто изогнутые пушистые ресницы.... Нет, Гриша никому не позволил бы издеваться. Но его давно уже нет.... Они привыкли жить вдвоем.

Теперь она очень храпит по ночам. Но Брочка спит хоть стреляй из пушек. А чужих беспокоить неудобно. Вот она и придумала: сговорилась с ночной сторожкой, что та будет пускать ее в школу. Положила в продуктовую сумку старенькое байковое одеяльце, думочку, фонарик, а сверху прикр-

ла все нотами. Когда большая музыкальная школа, целый день наполненная неумелыми громкими пассажами, пьесами, редко-редко, но все же иногда, чарующими чистотой, юношеской непосредственностью, уже прозреваемой виртуозностью звуками, вдруг смолкнет, тогда, простившись с Брочкой, Мира Ароновна, бесполезно протоптившись пару часов возле бюро обмена и получив новую порцию разочарований и хрупких надежд, совсем не бодрая, замученная безрадостным днем, идет к замолкшей школе. Она звонит у дверей в звонок, и сторожиха тетя Маня открывает ей.

- Что ж, заходи, горемышная, коль ничего лучше не придумала,- говорит тетя Маня, получая с нее полтинник.

И всякий раз Мире Ароновне становится стыдно от безразличного участия сторожихи, от того, что она никак не устроилась, опять такая вот жалкая...

Но она уговаривала себя, что это в последний раз, что завтра непременно что-нибудь придумает, это только на сегодня... Тетя Маня снимает с доски ключик, и Мира Ароновна проходит в свой класс. Она кладет на рояль думочку и не раздеваясь ложится, покрывшись байковым одеялом.

Когда-то у Миры Ароновны вышел инцидент с мамой одной ученицы. Ей случилось побывать дома у девочки и, увидев, что инструмент, как полка комиссионного магазина заставлен вазочками, статуэтками и прочей дребеденью, Мира Ароновна не попросила, а потребовала немедленно все убрать, сказав, что только о неуважении к музыке, к работе за роялем может свидетельствовать эта дребезжащая свалка. Мать девочки стала снимать вазочки и статуетки, но поджав губы,- конеч-

но, обиделась. Мира Ароновна никогда потом не жалела о своей резкости: тогда, в тот момент, ей важнее всего было заставить девочку раз и навсегда забыть о том, что рояль может быть мебелью, как, скажем, сервант, просто украшать комнату— нет, никогда! Только священный, запретный для постороннего касания станок, за которым ты трудишься, добиваешься мастерства, и может быть, потом, кто знает, начнет-ся искусство... Помнит ли Наташа, чью фамилию теперь такими крупными буквами печатают на афишах, кто преподавал ей этот первый урок уважения к инструменту?... Пустяки, конечно, просто у девочки были незаурядные способности...

Нет, Мира Ароновна испытывает совсем не стыд, ложась на твердую полированную крышку рояля, скорее всего это чувство горькой благодарности: кто ж знал, кто ж мог подумать, что когда-нибудь то, чему она столько лет служила рабственно, как божеству, ни вознаграждения не ожидая, ни какой-либо корысти не имея, вдруг вот, в тяжелую минуту, возьмет и подставит ей свою спину, примет на себя ее маленькое сухонькое тело, подарит невероятную возможность быть одной и никому не в тягость?

Сейчас она свернется калачиком и уснет... Ведь засыпала же она тут уже пару раз. А утром умоется в туалете и, вроде бы, как первая на работу пришла. А в перемену позавтракает в буфете... Только бы скорее уснуть... Должно быть, она очень устала за эти дни. Дети маленькие, чем больше устают, тем хуже спят. Она помнит: Врочка, когда набегается, перегуляет и днем не поспит, очень плохо засыпал всегда и ночью беспокоился, ее во сне звал...

Иногда ночью она подойдет к его кровати, поправит одеяльце, посмотрит на него— и, вроде бы, все хорошо, но вдруг, откуда ни возьмись, у нее появится странная тревога, тонкая как паутина. Никогда невозможно было понять откуда, с чего бы, но как начнет оплетать душу, уже только и слышишь, как сердце запуталось и дрожит, дрожит в тревоге... Так до утра промучается, а утром, или на другой день непременно выяснится: или корь, или скарлатина... Никогда предчувствия не обманывали...

А когда Гриша на фронт ушел, тогда по-другому было: она просто знала, что его убьют. "Ади меня, и я вернусь"— это стихи глупые, так пафос один и все. И все-таки ей всегда горько их слышать, вроде обвиняют они ее. Только тут дело совсем в другом: когда они прощались с Гришей, они оба знали, что навсегда. Иначе он не сказал бы ей тех слов... Как душно сегодня, топят, как сумасшедшие... Тогда это жуткое паутинное чувство ни на секунду не оставляло ее, с ним просто надо было жить. И жила. До самого того дня... Что ж она не посмотрела, может забыли форточку открыть? Нет, открыта форточка, но воздух стоит, не идет, странно, а на улице ей казалось, что ветренно... Кто это выдумал, что от горя можно умереть? Когда в груди молодое, здоровое сердце— тогда не умрешь, даже если совсем жить не хочется... Что-то мягкое, едва уловимое вдруг коснулось ее лица, и сразу же по всему телу пробежала мгновенная дрожь. И снова что-то слабо осязаемое щекокнуло по носу и оставило. Все от головы до ног сковал страх, еле-еле махнула рукой перед лицом, и тут же что-то омерзитель-

но щекотно поползло по щеке к шее. С трудом нащупала под подушкой фонарик, зажгла и в его свете поймала у самого ворота и разглядела перебирающее лапками мерзкое желтобрюхое тельце паука. Вскрикнула, отшвырнула от себя насекомое, но подступила тошнота, она сделала отчаянное усилие заглотнуть рвоту, та комок встала в горле, не пропуская воздух, облилась холодным потом, почувствовала на секунду скрежещую боль в груди и выронила фонарь...

Первые утренние шумы, хлопанье дверей, приветствия, новые звуки нового дня понемногу наполняли музыкальную школу, и вдруг по всем ее этажам разнесся истошный вопль — это уборщица зашла убрать класс и увидела лежащую на рояле мертвую преподавательницу, прикрытую старым байковым одеялом.

1976 г.
